На берегу

Автор:
Иэн Макьюэн

На берегу

Иэн Макьюэн

Внутри сферы. Проза Иэна МакьюэнаИнтеллектуальный бестселлер

Они – абсолютно разные. И им, таким непохожим, предстоит соединить свою жизнь и стать мужем и женой. Теперь их роднит страх, неуверенность в будущем – и сладкое предвкушение свободы. Но что ждет их в браке? Не обманывают ли они друг друга даже наедине? Филигранная в деталях история двух людей расскажет о том, как легко все потерять – за одну ночь.

"На берегу" – роман, где единственный момент вырастает до размеров вселенной.

Иэн Макьюэн

На берегу

Персонажи этого романа вымышленные и не имеют никакого сходства с живыми или умершими людьми. Гостиницы Эдуарда и Флоренс в миле с лишним к югу от Абботсбери в Дорсете, стоящей на возвышенности над полем позади прибрежной автостоянки, не существует.

И. М.

Анналине

ГЛАВА 1

Они были молодыми, образованными, оба – девственниками в эту их первую брачную ночь и жили в то время, когда разговор о половых затруднениях был невозможен. Но он всегда нелегок. Они только что сели ужинать у себя в номере на втором этаже гостиницы георгианских времен. За открытой дверью в соседнюю спальню видна была кровать с балдахином, довольно узкая, под белым покрывалом, постеленным так ровно, как будто его натянула не человеческая рука. Эдуард не сказал, что никогда не жил в гостинице, а Флоренс в детстве много разъезжала с отцом и повидала разные. Внешне они были в прекрасном настроении. Венчание в церкви Святой Девы Марии в Оксфорде прошло хорошо; служба была чинной, прием – праздничным, друзья из школы и колледжа провожали шумно и весело. Ее родители не смотрели снисходительно на его родителей, его мать больших оплошностей не совершила и не совсем забыла о причине торжеств. Молодые уехали на маленьком автомобиле матери Флоренс и ранним вечером прибыли в гостиницу на побережье Дорсета. Погода для середины июля и для такого случая была не идеальная, но вполне приемлемая: без дождя, но недостаточно теплая, по мнению Флоренс, чтобы ужинать на открытой террасе, как они намеревались. На взгляд Эдуарда – достаточно теплая, но, вежливый сверх меры, он и не подумал бы противоречить ей в такой день.

Поэтому они ели в маленькой гостиной перед приоткрытыми стеклянными дверьми балкона с видом на Ла-Манш и бесконечную гальку косы Чизил-Бич.[1 - Чизил-Бич – галечная коса длиной в 29 километров и шириной до 200 метров у побережья графства Дорсет в Южной Англии. От берега ее отделяет длинная узкая лагуна Флит.] Еду им подавали с тележки в коридоре два парня в смокингах, и вощеный дубовый пол «апартаментов для новобрачных» комически скрипел в тишине под их ногами. Гордый молодожен чувствовал себя защитником и внимательно следил, не проскользнет ли в их жестах или выражении лиц что-нибудь сатирическое. Он не потерпел бы хихиканья. Но эти парни из соседнего поселка занимались своим делом, почтительно согнув спины, с неподвижными лицами; манеры их были нерешительны, и, когда они ставили посуду на крахмальную полотняную скатерть, руки у них дрожали. Они сами робели.

Это был не лучший период в истории английской кухни, но тогда никого это не смущало, кроме гостей из-за границы. Трапеза началась, по обыкновению, с ломтика дыни, украшенного засахаренной вишенкой. В коридоре на серебряных тарелках, подогреваемых свечами, ждали кусочки давно поджаренной вырезки в загустевшем соусе, разваренные овощи и голубоватого оттенка картофель. Вино из Франции, но без указания области на наклейке с изображением одинокой стремительной ласточки. Эдуарду в голову не пришло бы заказать красное.

Не чая дождаться ухода официантов, Эдуард и Флоренс повернули стулья и разглядывали широкую мшистую лужайку, густой цветущий кустарник за ней и деревья на крутом склоне, спускавшемся к дороге на берег. Они видели первые слякотные ступеньки спуска, окаймленного растениями неправдоподобной величины, похожими на гигантский ревень и капусту, с разбухшими стеблями двухметровой высоты, гнущимися под тяжестью темных, с толстыми жилами листьев. Садовая растительность перла вверх, чувственная и тропическая в своем изобилии, особенно ярком в рассеянном сером свете, под легким туманом с моря. Море накатывалось на берег с мягким громом и откатывалось, шипя на гальке. У них был план: после ужина переобуться в грубые туфли, прогуляться по косе между морем и лагуной, известной под названием Флит, и, если не допьют вино здесь, возьмут бутылку с собой и будут пить на ходу из горлышка, как рыцари с большой дороги.

Планов у них было много – планы головокружительные громоздились в туманном будущем, теснясь, как летняя флора дорсетского побережья, – и такие же красивые. Где и как они будут жить, кто будут их близкие друзья, он будет работать в фирме ее отца, она – заниматься музыкой, как распорядятся деньгами, подаренными ее отцом, как не похожи будут на остальных, по крайней мере внутренне. Это все еще была эпоха – она закончится к исходу того славного десятилетия, – когда молодость считалась социальным обременением, признаком несущественности, состоянием несколько неудобным, а женитьба – началом избавления от него. Почти чужие, они стояли в странной близости друг к другу на новой вершине существования, радуясь тому, что новый статус обещает избавление от бесконечной молодости, – Эдуард и Флоренс, свободны наконец! Одной из любимых тем было у них детство – не столько его радости, сколько туман ошибочных представлений, из которого они выбрались, разнообразные родительские промахи и устарелые порядки, которые они могли теперь простить.

С этих новых высот они все видели ясно, но не могли описать друг другу некие противоречивые чувства: каждого по-своему беспокоил близкий уже момент, когда их новая зрелость подвергнется испытанию, когда они лягут на кровать с балдахином и откроют себя друг другу. Вот уже больше года он мечтал о том, как вечером назначенного июльского дня самая чувствительная его часть погрузится, пусть ненадолго, в естественную полость внутри этой веселой, красивой, изумительно умной женщины. Беспокоило же его – как достигнуть этого без нелепостей и разочарования. Конкретнее, после одного неудачного опыта он опасался чрезмерного возбуждения или, как кто-то выразился при нем, «прибежать слишком быстро». Опасение это почти постоянно присутствовало в его мыслях, но, как ни велик был страх перед неудачей, желание восторга, разрешения было гораздо сильнее.

Тревоги Флоренс были более серьезны, и по дороге из Оксфорда ей временами хотелось набраться мужества и высказать их. Но то, что ее тревожило, было непроизносимо, да и для себя это сформулировать она едва ли могла. Если он просто нервничал перед первой ночью, то она испытывала животный страх, беспомощное отвращение, такое же несомненное, как морская болезнь. Все эти месяцы радостного приготовления к свадьбе ей по большей части удавалось не обращать внимания на единственное облако, омрачавшее счастье, но, когда ее мысли возвращались к тесным объятиям – иного названия она избегала, – в животе рождался спазм, к горлу подкатывала тошнота. В современном передовом справочнике молодожена – с его жизнерадостным тоном, восклицательными знаками и нумерованными иллюстрациями – она наталкивалась на фразы и слова, вызывавшие чуть ли не рвотные потуги: «слизистая оболочка», зловещая, голая «головка члена». Иные фразы оскорбляли ее интеллект – в особенности касающиеся «вхождения»: «перед тем, как он входит в нее», или: «теперь, когда он наконец вошел в нее», или: «радостно войдя в нее». Она что, обязана в эту ночь стать какой-то калиткой или гостиной, через которую он прошествует? И почти так же часто встречалось слово, не сулившее ничего, кроме боли, раскрытия плоти перед ножом, – «проникновение».

В оптимистические минуты она пыталась убедить себя, что страдает всего лишь повышенной брезгливостью и это пройдет. Конечно, при мысли о яичках Эдуарда, подвешенных за «гиперемированным» пенисом – еще один жуткий термин, – у нее вздергивалась губа, а представить себе, что до нее кто-то дотронется «там», даже любимый, было так же невыносимо, как представить себе хирургическую операцию на глазу. Но на младенцев брезгливость не распространялась. Малышей она любила и, случалось, с удовольствием

ухаживала за маленькими сыновьями двоюродной сестры. Думала, что будет счастлива носить ребенка от Эдуарда, и абстрактно, во всяком случае, совсем не боялась родов. Если бы только могла достигнуть этого разбухшего состояния, как мать Иисуса, волшебным образом.

Флоренс подозревала, что в ней что-то очень неправильно, что она всегда была не такая, как все, и сейчас наконец это выйдет наружу. Ее проблема глубже и серьезнее, чем простое физическое отвращение; все ее существо восставало против плотской близости; ее самообладание и совершенное счастье будут насильственно нарушены. Она попросту не желала, чтобы в нее «входили» или «проникали». Секс с Эдуардом не может увенчать ее счастье, а будет ценой, которую она должна за это счастье заплатить.

Она понимала, что должна была давно это высказать, как только он сделал ей предложение, – задолго до визита к искреннему и ласковому викарию, до ужинов с ее и его родителями, до приглашения гостей на свадьбу, до списка подарков, отправленного в универсальный магазин, до аренды шатра и найма фотографа, до всех остальных необратимых приготовлений. Но что она могла сказать, какими словами выразить, если себе не могла объяснить? А ведь она любила Эдуарда, не с жаркой, влажной страстью, о которой читала, а душевно, тепло, иногда – как дочь, иногда почти по-матерински. Она любила прижаться к нему, любила, когда он обнимал ее громадной рукой за плечи, когда целовал ее, но не любила его язык у себя во рту и молча дала это понять. Его считала оригиналом, не похожим ни на кого из известных ей людей. В кармане пиджака у него всегда лежала книжка, обычно по истории, – на случай, если он окажется в очереди или в приемной. В прочитанном он делал отметки огрызком карандаша. Из знакомых мужчин он, кажется, единственный не курил. Носки на нем всегда были не парные. Галстук – только один, синий, вязаный; он носил его почти всегда, с белой рубашкой. Она обожала его любознательный ум, мягкий сельский выговор, его невероятно сильные руки, неожиданные повороты его разговора, его доброту и взгляд его карих глаз, окутывавший ее теплым облаком любви, когда она говорила. Ей было двадцать два года, и она не сомневалась, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с Эдуардом Мэйхью. Неужели же она рискнет его потерять?

Поговорить ей было не с кем. Сестра Рут слишком молода, а мать, замечательная по-своему женщина, слишком интеллектуальна, слишком холодна – старомодный синий чулок. Столкнувшись с интимной проблемой, мать впадала в ораторский или лекторский тон, употребляла все более длинные и длинные

слова, ссылалась на книги, которые, по ее мнению, должен был прочесть каждый. И только когда вопрос был таким образом упакован, могла иной раз расслабиться до доброты, хотя случалось такое редко, да и тогда невозможно было понять, какой совет ты получаешь.

У Флоренс были чудесные подруги из школы и музыкального колледжа, но с ними было противоположное затруднение: они обожали задушевные разговоры, с упоением обсуждали проблемы подруг. Все были знакомы между собой, со страстью перезванивались и переписывались. Доверить им секрет она не могла, но не ставила им это в вину, потому что сама принадлежала к кружку. Она и себе не доверилась бы. Она была наедине со своей проблемой, не зная даже, как к ней подступиться, и единственным источником мудрости был только этот справочник карманного формата. На вульгарно красной бумажной обложке, нарисованные как бы мелом, неумелой детской рукой, держались за руки два тощих, улыбающихся, пучеглазых человечка.

Они съели дыню меньше чем за две минуты, а парни, вместо того чтобы ждать в коридоре, стояли позади, возле двери, трогая свои бабочки и тугие воротники, одергивая манжеты. Ничего не выразилось на их неподвижных лицах, когда Эдуард комически претенциозным жестом протянул Флоренс свою вишенку. Она игриво взяла губами ягоду из его пальцев и, глядя ему в глаза, стала жевать, медленно, так что ему был виден ее язык. Она понимала, что, заигрывая с ним, только осложняет свое положение: не надо затеваться с тем, что не готова продолжить. Но была потребность хоть чем-нибудь ему угодить, чтобы не чувствовать себя совсем бесполезной. Если бы только достаточно было для этого липкой вишенки.

Показывая, что ему не мешает присутствие официантов (хотя не мог дождаться их ухода), Эдуард улыбнулся, откинулся на спинку с бокалом в руке и спросил через плечо:

– Еще есть дыня?

– Больше нет, сэр. Извините.

Но рука с бокалом дрожала от внезапного прилива счастья и возбуждения, которого он не мог сдержать. Флоренс будто светилась изнутри, красивая, чувственная, талантливая, добрая до невероятия.

Официант, ответивший ему, просунулся к столу, чтобы забрать пустые тарелки. Его коллега за дверью перекладывал на тарелки второе блюдо, ростбиф. Вкатить тележку в апартаменты новобрачных для обслуживания у стола было невозможно: из-за непродуманной планировки, когда елизаветинскую ферму «георганизовали» в середине восемнадцатого века, была разница в уровнях – две ступеньки.

Молодые на минуту остались одни, хотя слышно было, как скребут ложки по тарелкам и тихо переговариваются официанты за открытой дверью. Эдуард положил ладонь на ее руку и в сотый раз за сегодня сказал шепотом: «Я тебя люблю», она сразу ответила ему тем же, ответила с полной искренностью.

Эдуард получил степень бакалавра по истории в Лондонском университете. Три года он изучал войны, восстания, эпидемии, возвышение и крах империй, революции, которые пожирали своих детей, сельскохозяйственные беды, нечеловеческие условия труда в промышленности, жестокость правящих элит – красочную летопись несчастий, угнетения и несбывшихся надежд. Он понимал, как стеснена и убога может быть жизнь, поколение за поколением. В широкой перспективе мирные, благополучные времена, такие, какое переживала сейчас Англия, были редки, а в них счастье его и Флоренс – чем-то исключительным и даже единичным. В последний год он специально занялся изучением роли личности в истории – действительно ли устарела теория, согласно которой «великий человек» может определить судьбу страны? Его руководитель считал, что безусловно устарела. Историей с большой буквы движут к неизбежной, необходимой цели неодолимые силы, и скоро этот предмет превратится в точную науку. Но биографии, которые Эдуард изучал подробно – Цезаря, Карла Великого, Фридриха II, Екатерины II, Нельсона и Наполеона (Сталин был опущен по настоянию руководителя), – склоняли к противоположной мысли. Безжалостная личность, голый оппортунизм и удача, доказывал Эдуард, могут круто повернуть судьбы миллионов – этот своевольный вывод принес ему четверку с минусом и чуть не оставил без степени.

Попутное открытие – что даже легендарный успех дарит мало счастья – усугубило его беспокойство, честолюбивый зуд. Утром, одеваясь к венчанию (фрак, цилиндр, омывание в одеколоне), он решил, что ни одной из личностей в его списке не ведомо было подобное удовлетворение. Его восторг – сам форма величия. Вот он – полностью или почти полностью совершившийся человек. В двадцать два года он затмил их всех.

Сейчас он смотрел на свою жену, в ее глаза, карие, со сложным узором крапинок на радужке и легчайшего молочно-голубого оттенка белками. Ресницы у нее были темные и густые, как у ребенка, и в серьезности ее спокойного лица – тоже что-то детское. При определенном освещении в четкой лепке этого лица проглядывало что-то индейское, что-то от благородной скво. У нее был твердый подбородок и широкая безыскусная улыбка с морщинками в углах глаз. Ширококостая (некоторые матроны на свадьбе со знанием дела отмечали ширину ее бедер), а груди, которые Эдуард трогал и даже целовал, хотя весьма периферически, – маленькие. Кисти скрипачки, белые и сильные, и такие же сильные длинные руки – в школьные годы она отличалась в метании копья.

Эдуард всегда был равнодушен к классической музыке, но теперь приобщался к ее звонкому арго: legato,pizzicato, con brio. Постепенно, за счет безжалостного повторения, он приучался узнавать и даже любить некоторые пьесы. Особенно его трогала одна, которую она исполняла с подругами по квартету. Когда Флоренс упражнялась дома, играла свои гаммы и арпеджо, она надевала на волосы ленту – эта милая деталь навевала ему мечты об их будущей дочери. В игре ее была изощренность и точность, и ее хвалили за насыщенность звука. Один преподаватель сказал, что никогда еще не встречал студентку, у которой открытая струна пела бы с такой теплотой. Перед пюпитром в репетиционной комнате в Лондоне или у себя дома в Оксфорде, когда Эдуард лежал на кровати, смотрел на нее и желал ее, она держалась грациозно, с прямой спиной и гордо поднятой головой, и читала ноты с властным, почти надменным выражением, которое возбуждало его. Такая в ее повадке была уверенность, такое знание пути к удовольствию.

Пока дело касалось музыки – натирала ли она канифолью смычок, меняла ли струну, расставляла ли стулья для трех участников студенческого струнного квартета, который был ее страстью, – движения ее были плавны и решительны. Она была несомненным лидером, и в их многочисленных музыкальных спорах последнее слово всегда оставалось за ней. Но в обычной жизни она была на удивление неуклюжа и неуверенна, вечно сшибала пальцы на ногах, опрокидывала вещи, стукалась головой. Пальцы, умело бравшие двойные ноты в баховской партите, так же ловко проливали полную чашку чая на белую скатерть или роняли стакан на каменный пол. Она цеплялась ногой за ногу, если думала, что за ней наблюдают, и как-то призналась Эдуарду, что идти по улице навстречу знакомому – для нее тяжелое испытание. А когда нервничала или стеснялась, рука ее то и дело тянулась ко лбу, чтобы откинуть воображаемую прядь волос – робким, трепетным движением, еще долго повторявшимся после того, как исчезла причина беспокойства.

Можно ли было не полюбить такую странную, особенную женщину, такую сердечную, глубокую, до болезненности честную, у которой каждая мысль, каждое чувство открывались взгляду обнаженными, в жестах и выражении лица, струясь как поток заряженных частиц? Даже без ширококостой ее красоты он все равно неизбежно полюбил бы ее. И она любила его, напряженно, с мучительной для него физической сдержанностью. Она пробуждала в нем не только страсть, вдвойне горячую из-за отсутствия надлежащего выхода, но и инстинкты защитника. Хотя так ли уж была она уязвима? Однажды он заглянул в ее папку с табелями успеваемости: показатель умственного развития по тестам – 152, на 17 пунктов выше, чем у него. В ту пору эти показатели считались мерой чего-то такого же осязаемого, как рост и вес. На репетициях квартета, когда у нее возникали разногласия по поводу фразировки, или темпа, или динамики с Чарльзом, самоуверенным виолончелистом, чьи круглые щеки цвели позднеюношескими прыщами, Эдуард дивился ее хладнокровию. Она не спорила, она спокойно выслушивала, а затем объявляла свое решение. Тут никаких поползновений поправить прическу. Она знала, как надо, и была полна решимости руководить, как и полагалось первой скрипке. Кажется, и довольно грозного отца она заставляла делать то, что ей надо. За много месяцев до свадьбы он по ее просьбе предложил Эдуарду место. Хотел ли он этого сам или не осмелился отказать – вопрос другой. И она точно знала, благодаря какому-то женскому осмосу, что требуется для торжеств, – от размеров шатра до количества ягодного пудинга и на какую сумму он готов будет раскошелиться.

– Несут, – шепнула она и сжала его руку, предупреждая возможный порыв интимности.

Официанты приближались с тарелками мяса – на его тарелку наложено было вдвое больше. Кроме того, они принесли бисквит, пропитанный хересом, чеддер, мятные шоколадки и поставили на буфет. Дав сбивчивый совет насчет звонка возле камина – надо сильно нажать и держать, – парни удалились, с необыкновенной осторожностью затворив за собой дверь. Послышалось дребезжание увозимой по коридору тележки, затем тишина, потом торжествующий вопль, вероятно уже из бара внизу, и наконец молодожены остались одни. Переменившийся ветер или просто порыв его донес шум прибоя, словно где-то далеко бились стаканы. Туман поднимался, частично открылись контуры низких прибрежных холмов, дугой уходящих к востоку. Видна была светлая серая гладь – то ли шелковая полоса моря, то ли лагуны, то ли неба, понять было невозможно. Через приоткрытые балконные двери прилетел с ветром соблазнительный соленый запах свежести и простора; с ним никак не

гармонировала крахмальная скатерть, загустевший соус с кукурузной мукой, тяжелое полированное серебро у них в руках. Свадебный обед был обильным и продолжительным. Они не успели проголодаться. Теоретически они могли оставить свои тарелки, взять бутылку за шею, выбежать на берег, скинуть туфли и насладиться волей. Никто в гостинице и не подумал бы их остановить Они стали взрослыми наконец, у них праздник, они свободны делать все, что хочется. Через каких-нибудь несколько лет так и поступили бы самые обыкновенные молодые люди. Но сейчас не то было время. Даже когда Эдуард и Флоренс оставались наедине, над ними еще тяготели тысячи неписаных правил. Именно потому, что они взрослые, негоже по-ребячески убегать от стола, приготовленного для них с такими стараниями. Ребячливость была еще не в почете или не в моде.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Чизил-Бич – галечная коса длиной в 29 километров и шириной до 200 метров у побережья графства Дорсет в Южной Англии. От берега ее отделяет длинная узкая лагуна Флит.

Купить: https://tellnovel.com/ien-makyuen/na-beregu-kupit

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити